

Ольга Балла

СНЫ МЕСЯЦА ТИШРЕЯ

Керен КЛИМОВСКИ. Время говорить: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — 445, [3] с. — (Роман поколения).

Роман русской израильтянки (такое обозначение координат автора условно и неточно чуть ли не до огрубления, но пусть пока, простоты ради, будет так) Керен Климовски, с одной стороны, — хроника общечеловеческого процесса взросления: личностного и социального становления девочки с двенадцати до шестнадцати лет, преодоления очень типичных, узнаваемых трудностей на этом пути. Четыре года — четыре главы, а части притом две, и если три первые главы теснятся в одной части, то последняя — «Время говорить», давшая название всему роману, целиком занимает вторую часть — все двести страниц. Хочется предположить, что это неспроста, потому что главная тема всего повествования — дорастание человека до речи, до позиции полноценного субъекта речи. Автор доводит героиню, начавшую на шестнадцатом году пристально и сложно осмысливать себя в форме писем к безнадежно любимому человеку, до порога юности — и оставляет ее на нем, не разрешившую, в общем-то, ни одного из волнующих ее вопросов (кроме самого главного — о чем ниже), в состоянии сплошной открытой возможности. По существу, это роман, у которого нет финала — а есть остановка на пороге. Но направленное развитие есть точно.

С другой стороны, эта история увидена и осмыслена с позиции довольно нетривиальной в культурном отношении: героиня романа Мишель, она же, по домашнему имени, Мишка, растет в семье «русских» израильтян и таким образом — в постоянном, изначальном взаимоналожении культурных матриц. Надо, правда, признать, что израильские матрицы в случае «сабры» Мишель решительно сильнее; от всего русского тут осталась разве что фамильная память, дальнее эхо, в глазах самой повествовательницы не лишнее странности и чуждости. Мишели еще предстоит во всем этом символическом наследстве разбираться; стремясь лучше понять своего отца, она начнет читать — правда, в ивритском переводе — прежде малоинтересного ей Достоевского и потихоньку до него дорастать, но для нее это будет именно освоением чужого.

«Вот мои родители, например. Казалось бы, уже больше двадцати лет в стране и приехали сюда детьми, а все еще тоскуют по русской осени — с дождями, грибами, опавшими листьями. Причем папа заиклен на грибах. У нас зимой тоже растут грибы — папины друзья собирают. Но папу это не устраивает. Не то, говорит, не те грибы, другие, не такие: где запах детства, запах России, запах русской литературы? Хочется сказать: в твоей университетской библиотеке! Там и сыро, и гнилью пахнет».

Нормальное такое подростковое отталкивание от мира родителей с удивлением его иноустроенности — но здесь перед нами еще и принадлежность подростка и его родителей к разным чувственным реальностям, к разным системам привычек, а отчасти и к разным языкам. Родной язык мамы с папой Мишель как-то знает, но очевидным образом смотрит на него извне, не всегда понимает русские идиомы вроде «после дождичка в четверг», то есть какие-то области родительского опыта остаются для нее непроясненными. Русское душевное устройство тоже вызывает у нее по меньшей мере удивление: «единственное, что я поняла, — говорит она о своих первых опытах чтения Достоевского, — все русские — сумасшедшие, у них полностью крыша поехала». Стоит сразу сказать, что не это станет главным источником движущих роман конфликтов, но свой отпечаток на проживание ситуаций, с этими конфликтами связанных, безусловно, наложит.

Мишель, похоже, в своем преодолении трудностей отрочества окажется более одинокой, чем ее безоговорочно израильские ровесники. Ей придется труднее, чем им.

Кстати, среди них она тоже немного чужая — именно в силу происхождения: «с тех пор, как к нам на голову свалился миллион русских (то есть евреев из России, но в эти детали никто не вдается), русских у нас недолюбливают». Одно только и спасает — то, что имя у нее, странной волею родительских пристрастий, французское. «А когда папа называет меня Мишенькой, у меня все внутри замирает, и никак не могу признаться, что я не только не собираюсь переводить русскую литературу, а даже читать ее не планирую...»

И второе, что стоит сказать сразу: в одном только абзаце о тоске по осени и грибам, почти наугад взятом из самого начала книги для иллюстрации, много достойных внимания наблюдений над, так сказать, сложной психосоматической ситуацией транскультурного человека, над с трудом, если вообще, проясняемой связью между запахами и большими комплексами смыслов — «запах русской литературы!» — над устойчивостью этих связей: они остаются неизменными, даже когда человек провел в иной культурной и природной реальности целых двадцать лет и живет в ней с детства. Вообще, роман хорош еще и тем, что в нем множество таких вот тонких, как бы по краю поля зрения располагающихся наблюдений, способных стать предметом отдельной рефлексии.

Устройство этого мировосприятия, признаюсь, интересно рассматривать само по себе (что, скорее всего, уведет внимание в сторону от основных задач книги). Тут надо помнить, что нетривиальным и экзотичным такой взгляд видится разве что человеку, целиком принадлежащему русской (или какой бы то ни было иной) культуре, — для Израиля с множественностью его культурных истоков и матриц он, надо думать, совершенно в порядке вещей, и героиня романа важна самой Климовски, при всей тонкой нюансировке индивидуальности Мишели, кажется, прежде всего в своей типичности. Но, во всяком случае, для неизраильтян чтение рассказанной в романе истории — в значительной степени открытие и освоение прежде неведомого. Это — во многом иначе, чем у нас, структурированные психологические пространства, иные системы знаков, даже при том, что отсылают эти знаки к совершенно общечеловеческим чувствам, состояниям, смыслам. И это другой чувственный — а вследствие того и эмоциональный, и эстетический — опыт.

«...Все идут в синагогу, и все в белом, — рассказывает Мишель о Судном дне, который, как признается, она любит среди израильских праздников больше всего. — Такая традиция. Представьте: толпы народу — “народ Израиля”, прямо как в Торе, все на улицах, и все в белых одеждах. И эти одежды слегка пузырятся и вздуваются на легком ветру — предвестнике израильской осени, — так же вздуваются и пузырятся белые простыни, вывешенные на просушку в начинающей остывать Иудейской пустыне, где живут папины родители. Вечером, в мягко густеющей темноте на улицах как будто шествие привидений, и белые одежды сияют в полумраке, а когда на них

падает свет фонарей, кажется, что свет струится от самой одежды. А днем... днем плывет караван кораблей — не по морю, а по пустыне: это мы — весь народ Израиля, люди-корабли. И плывем не за угол, не на соседнюю улицу в синагогу, а просто выплываем все вместе в бескрайний и безбрежный мир. И это очень красиво. Правда. Я каждый год этого жду»... «И сны снятся чудесные, сны месяца тишрея, когда жара — отголосок, а дождь — обещание».

Подробности подросткового восприятия мира — именно в израильском их облике, бывшем только там и тогда (а притом сколько узнаваемого!) переданы здесь, насколько можно понять, очень внимательно и точно.

«...Осенью начинается школа, и запах обновления проникает во все предметы: в новые тетрадки и оберточную бумагу для учебников, в пенал, карандаши и гелевые ручки, которыми нам только-только — в шестом классе — разрешили писать. Повезло, конечно, что учебный год начинается осенью, когда уже не так жарко и можно сосредоточиться на чем-то, но все эти запахи сводят с ума, по крайней мере меня. Нам опять, в очередной раз, обещают, что все будет хорошо, что круг завершен: мы вернулись к началу, и так будет всегда — начало года, запах бумаги и учебников, синий маркер на белой доске... Короче, мы все будем жить вечно!»

Керен Климовски, человек нескольких культурных миров одновременно (родилась в Москве, выросла в Израиле, получила высшее образование в Соединенных Штатах, живет в Швеции, пишет на нескольких языках), конечно, отдает себе отчет в острой экзотичности вмещенного в книгу опыта для ее читательской аудитории. Тем более, что роман о жизни, прожитой ею самой на иврите, она написала именно по-русски — на языке своего младенчества и своих родителей. То есть нам с вами в первую очередь она ее и адресовала.

Таким образом, автор заставляет девочку с ивритским языковым сознанием говорить с нами (по идее, с самой собой — текст моделирует ее внутреннюю речь, как бы дневник, только без дат) сразу по-русски, пусть и с ивритскими вкраплениями (*ло нора, хавэр*) — видимо, есть вещи, которые точнее всего оставлять без перевода, в переводе они перестанут быть самими собой. Это интересный опыт, оценить который вполне может, наверное, только тот, кто знает в равной степени оба языка и может их внутри себя соотнести.

Автобиографичность этой истории, конечно, преувеличивать не стоит, хотя некоторые элементы собственной жизненной истории Керен Мишели явно передала. Смысл рассказанного — не в автобиографической рефлексии и уж тем более не в исповеди, но именно в рассмотрении общечеловеческих обстоятельств, антропологических универсалий в их своеобразном преломлении условиями места и времени: Израиля конца 1990-х — начала 2000-х. Здесь важно не столько резкое индивидуальное, сколько именно типичное. Задачей тут явно было осмыслить сразу все: и поколенческие особенности, и израильскую жизнь того времени (которая теперь, на самом деле, уже довольно далекое прошлое), и удел человеческий в его надысторичности и неизменности.

Повествование Климовски выстраивает как цепь травматичных ситуаций, ломающих привычный порядок жизни и тем самым инициирующих растущую девочку во взрослый мир, как последовательность вызовов, на которые Мишели придется искать ответы, да еще такие, чтобы они устраивали не только ее, но и ее окружение. Защищающие границы постоянно рвутся. Жизнь то и дело ломается, прежние представления и привычки обнаруживают свою негодность — надо выстраивать и жизнь и себя заново.

(Кстати, вехи этого пути, наверняка тоже неслучайно, размечены израильскими праздниками, насыщенными символическим значением: от Йом Кипура, Судного дня — дня перелома, границы, дня, в который решается судьба человека по меньшей

мере на предстоящий год, — до Лаг ба-Омера, праздника костров, дня чувства и празднования людьми своей общности и связи.)

Нормальная, опять же, работа взросления. Только, кажется, у Климовски все сгущено с некоторой даже нарочитостью: собраны чуть ли не все кризисные ситуации (каждой — по главе), которые только способны приключиться с растущим человеком. Душевная болезнь матери, ее заведомо неполное присутствие — почти отсутствие в жизни девочки (впрочем, это даже не кризисная ситуация как таковая: это фон жизни вообще и почти всех предстоящих кризисных ситуаций в частности). Мучительное открытие того, что отец матери изменяет. Развод родителей. Уход отца к другой женщине, разрыв с ним и установление отношений заново. Рождение у отца и мачехи младшего братика Мишели. Смерть (да еще самоубийство!) близкой подруги. Новый развод отца — уже с мачехой, с которой вроде бы только-только удалось найти дружеское взаимопонимание. Совсем обухом по голове: едва вернувшаяся к жизни из своей многолетней депрессии мать оказывается лесбиянкой, и это тоже — вместе с новой возлюбленной матери — предстоит понять, принять и вместить. (У Мишели получилось!) Каждая из таких ситуаций — суть которых в самом общем виде можно определить как открытие других и Другого — означает переход в новый возраст, на новую стадию зрелости. И это еще помимо дружб, соперничеств, очарований и разочарований, влюбленностей, любовей — все более серьезных и все более единственных, вплоть до совсем серьезной любви к очень, очень сложному человеку — с которым до самого конца романа так ничего толком и не устраивается. А ведь есть еще неминуемо проблематичные отношения с собственным взрослеющим телом и понимание сложности человеческих отношений как таковых, и выяснение пределов своих возможностей и источников своей силы и уверенности...

Траектория выстраивается вполне внятная: от совсем еще детской заикленности на себе (роман открывается категоричным заявлением двенадцатилетнего человека: «Может, звучит пафосно, но факт: осенью я отказалась от любви. Думаю, навсегда») — до принятия — не просто любви и ее ценности, хотя речь как будто прежде всего о ней, — но ценности человека и человеческих связей (и это, конечно, и есть тот главный вопрос, до собственных ответов на который Мишели удалось на протяжении романного времени дорасти): «...мы все в чем-то правы, поэтому все заслуживаем любви, даже те, кто не заслуживает, и я уже запуталась, и костер догорает, но я успела, я — Мория Мишель — рассказала костру о главном, безмолвно призналась костру в любви — не к костру, конечно же, а ко всем, кого люблю, и это замечательно, когда у тебя — время говорить и ты говоришь, пусть без слов, когда у тебя “время говорить”, а тебе есть что сказать».

Самое (ладно, одно из самого) интересное и сложное в работе, которую пришлось выполнить автору, следуя за Мишелью в ее взрослении, — это постепенно усложнять внутреннюю речь героини, на которой роман построен целиком, в каждой главе выстраивая ее так, чтобы она соответствовала текущему возрасту девочки, свойственным этому возрасту душевным движениям, речевым обыкновениям. В целом это, кажется, получилось, хотя, опять же кажется, иногда — особенно в первой главе, когда Мишель еще совсем, по существу, маленькая — автор все-таки подменяет ее подростковую угловатую речь своей, взрослой, сложной. Но к последней главе это проходит, и получается совсем аутентичный шестнадцатилетний, еще захлебывающийся и сбивающийся, но уже крепнувший голос.

А Мишель молодец. Мишель справилась.